

НАТАЛЬЯ АРИШИНА

ЛАВРЫ НА ГОЛОВУ НЕ ВОЗЛАГАЯ...

Рыбной лавкой на собственной тяге
горд посланец недалней страны.
Европейского вида бродяге
мы как Азия все же нужны.
Я раба своего гороскопа
и морские люблю города.
Пусть глаголет, что мы — не Европа
и не устрицы — наша еда.
Цедит цены на выцветшей мове
у пропахшего рыбой авто.
Масса мелочи в жадном улове
пропадет ни за что ни про что.
Контрафактные банки с икрой
кроет ржа, над ценой изгалясь,
и прибрежной густой мошкарою
торг облеплен, бессмысленно длясь.
Я в застывшие очи катранам
все гляжу, не сбивая цены.
Он хамсу отмеряет стаканом,
вытирая ладонь о штаны.

БОЛЬШАЯ СУША

Памяти Татьяны Бек

В мегаполисном сердце под аритмию,
под сурдинку ее, под ее угрозы
обещала себе, что вовек не стану
покидать семихолмие роковое.
Вейнянмёйнен в чреве Огненной Рыбы
добывает огонь, и рокочет руна,
ищет Винонен, горьким темнея ликом,
злую истину в море огненной влаги.
Возвращаюсь с Запада восвояси.
Спешно маятник жизни, со свистом ходит.
Возвращаюсь с Востока, лечу обратно.
Автобаны мелькают, теряют звезды
то одну, то другую свою подругу.
Трус объял острова — и Большая Суша
на японский ужас глядит китихой,

ошелюманной двадцать первым веком.
Потому ль, что слаба я глазами стала,
стала видеть не то, что глазами видят,
от Балтийского моря до Океана
по былым маршрутам шутя гуляю.
Календарное время вполне условно:
целый век растеряешь — и не заметишь.
Светом Рыб освещали мое рожденье,
но далекие звезды так тускло светят.
А теперь догорел и светильник Тани —
и хронически не хватает света.
На Ваганьковский холм налетела туча.
Для февральской погоды закон не писан.
Кверху брюхом теченье плотвицу тащит
и пером золотым, как с огнем, играет.

Памяти Е. Кузьминой-Караваевой

Сиренью в устье Старого Арбата
ты снилась мне ночами напролет.
Уловленная наскоро цитата
по гамбургскому счету не пройдет,
и нечего спросонок обольщаться,
что возвратилась лучшая весна,
как некогда у нового палаццо
пролив немного красного вина.

Я отменю любимую прогулку —
объявлен туристический маршрут.
Пиленкову былому переулку
не даром имя прежнее вернут.
Стоит толпа у памятного знака,
глядит на полированный гранит.
С причала забежавшая собака
на свежем дерне, не смущаясь, спит.

Что гений места кажет ей, собаке,
в бессмысленном дневном прилюдном сне?
Увы, я засыпаю лишь во мраке —
и наяву нельзя увидеть мне
кузнечика, сложившего подкрылки
на пожелтевших скифских черепках,
апостольника узел на затылке
и четки в нецелованных руках.

Потчевать польского графа чарджуйскою дыней,
ропот цикад уловляя с чужого баштана.
Свет предвечерний. Волос нескрываемый иней.
Долгие проводы. Чары. Ахматовиана.
Чем это кончится? Для чужестранца — Парижем.

Брошку пришлет чаровнице. Припишет другая
сладость вниманья себе, но на общий нанижем
счет — недомолвки, не споря, не предполагая
зависти тайной к сопернице. В этом ли дело?
Брошка парижская, кажется, не уцелела.
Ломтем нетронутым в небе — чарджуйская дыня.
Хоры цикад надрываются в лоне баштана.
За горизонтом палящая дышит пустыня.
Мифы незыблемы. Чары. Ахматовиана.

НАУКА ПОЭЗИИ

Много пройдешь, становясь на котурны?
Ходишь пешком, не ломая комедий.
Скоро откажешься и от сандалий.
Лавры на голову не возлагая,
предпочитаешь супы и жаркое
ими увенчивать без перебора.

Недруг с иронией: «Вот ты какая...»
Друг, возлежа: «Хорошо ты готовишь!»
Тихо соперница: «Ходишь тихоней,
ан, невзначай, коготки выпускаешь».
Громко подруга: «Да чья бы мычала!
Вижу, куда запускаешь ручонку».

Что тут ответить? На всем побережье
лучшей ответчицы я не слыхала.
Зяблику ты отвечаешь, и мухе,
и комариной ночной серенаде,
и притаившимся в ряске лягушкам.
Много ль имеющих уши найдется?

Последняя фаза луны
настойчива и плотоядна.
Разбитые вдребезги сны
осколками ранят нещадно.
Прохладу принес бы сквозняк,
но душит бензиновым чадом.
И грозно ползет товарняк
с цистернами, полными ядом.
Эфирной спасешься возней? —
Найдешь перебранку сорочью.
Закутаешься простыней —
как белой отравишься ночью.

Еще не выжжена полынь, еще всю пылают маки,
морская синь, и неба синь, и две блохастые собаки,
старик с разорванной губой, его тельняшка и наколка.
На редкой глине голубой не процветает быт поселка.

Ель затеняет сельсовет, как старое бельмо — ресницы.
И флага нет, и власти нет, поют щеглы, звенят синицы.
Баркас ржавеет на мели. Кому спускать его на воду,
коль в этом уголке земли не прибавляется народу?

И месяца злаченный ятаган,
и россыпь звезд и оптом и поштучно
распроданы. И вечный бандюган
у казино дежурит неотлучно.
Неотразимо движется жара,
густеет кровь — стреноженную вену
чем укрепить? Лишь росчерком пера
решительным, чтобы не лезть на стену.
Я дотащусь до понта и в тетрадь
все выверну и выжму, чем болею,
но проигрышем стыдно донимать
эвксинскую мою гиперборею.

ПАРКА

Под вечер сидела в качалке, платок распуская,
но свет не включала и раны присыпала солью.

Тянула за нитку - не медлил платок, убывая,
когда-то пуховый, но вытертый, траченный молью.

Уже на носу холода и нитье поясницы.
Пускай бы узлом подпирал бесполезное лоно.

Мотала, шептала, слезу убирала с ресницы,
моток натянула на гипсовый бюст Аполлона.

И пыльные гипсы, и тусклую зелень патины
укутает тьма. Бормочи с интонацией новой:

укроп порыжелый, белесый зазор паутины,
бугристая штопка суглинка над норкой кротовой.

Задержала шторы. Как лошадь, носящая шоры,
ноздрей поведи: ну, почем там осенняя воля?

Летит паутина, свои разрушая узоры,
стерня золотится на лоне пшеничного поля.

В сухарнице долго черствеют воскресные булки,
забытая книга раскрыта на первой странице.

На ивовом дне запыленной рабочей шкатулки
бесцельно мерцают стальные вязальные спицы.

ЛАВРЫ НА ГОЛОВУ НЕ ВОЗЛАГАЯ...

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Она читает Горация.
И. Ф.

Пыльных улиц, зловонных людских отбросов,
тесноты городской, суматохи, гама,
зычных девок, торгующих чем попало —
мылом, похотью в брэнном теле,
презирать ли, коль подслеповат и вспылчив,
низкорослый толстяк, поперек себя шире,
наречась эпикуровым поросенком,
обрастаю спешно седой щетиной?

На костре погребальном сгорел Вергилий,
удалился Варий в обитель мрака,
молодежь о гражданских забыла войнах.

Меценат! В Эсквилин удаляясь нервно,
там, бессонницей мучим, дневной дремотой
ненадолго упьешься под плеск фонтана.
Скоро, скоро навечно заснем друзьями.
Нас в саду эсквилинском положат рядом.

И ящери в песках, и голуби на крыше,
и в сумерках — зигзаг крыла летучей мыши
в который раз мелькнет, и в мысленный эскиз
внесешь мельчайший штрих — и прочно он повис
на призрачной стене, на гвоздике чердачном,
в забытом уголке, заброшенном и мрачном.

Проветри свой чердак, ополосни карниз.
Не выйдет — налижись до положенья риз —
все лучше сумрачных мельканий и кружений,
волнений не с руки и полуночных бдений.

Все лучше, проще, злей.

Еще, еще налей.

Абрау плюс Дюрсо

по этой трассе, близко.

И вот уже в кювет

съезжает колесо.

И общий всем привет

из зоны риска.

ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ

Где обрывается Россия...
О. М.

У неслучайного места на юге российском
поезд пятнадцать минут, не опоздав, простоит.
Все-таки стоит спешить. Кто там застрял на подножке?
Резво с поклажей своей прыгай, народ кочевой.
Вот они, в ряд — тополя, три легковушки — под ними,
виды выдавший пикап, с вмятиной свежей — «Газель».

Здесь невзначай тормозни. Частного жертвой извоза
стать не стремясь, ухитрись к морю домчать с ветерком...
Не было к здешним краям столь всеобъемлющей тяги.
Суша, шагрени лоскут, вдруг поползла от морей:
спекся имперский порыв — и побережья отпали.
Славься, последний оплот, Берег Высокий, держись.
Есть на обрыве крутом мазанка прямо над бездной.
Любит скворешню свою немолчаливый скворец.
Бойкая, благоволит к двум постояльцам хозяйка,
белит лачугу свою, сушит льняное белье.
Щедрая нынче лоза, будем с напитком бодрящим.
Белая бродит коза. Чайка, как лебедь, плывет.